Вьюга

Автор:
Иван Лукаш

Вьюга

Иван Созонтович Лукаш

«…Война уже вошла в медлительную жизнь людей, но о ней еще судили по старым журналам. Еще полуверилось, что война может быть теперь, в наше время. Где-нибудь на востоке, на случай усмирения в Китае, держали солдат в барашковых шапках для охраны границ, но никакой настоящей войны с Россией ни у кого не может быть. Россия больше и сильнее всех на свете, что из того, что потерпела поражение от японцев, и если кто ее тронет, она вся подымется, все миллионы ее православных серых героев. Никто не сомневался, что Россия победит, и больше было любопытства, чем тревоги, что же такое получится, если война уже началась…»

Иван Лукаш

Вьюга

От автора

В 1933 году Академия общественного воспитания и сотрудничества объявила во всем мире международный литературный конкурс романов.

В условиях конкурса, опубликованных во всех газетах, было указано, что Академию, во главе с ее ректором, кардиналом Бодрильяром, представляет

международное литературное жюри под председательством академика Анри Бордо в составе судей: Честертона от Англии, Филиппо Меда от Италии, барона Мазетти от Австрии и немецких стран, Манюэля Гальвеца от Южной Америки и испанских стран и Уольша от Северной Америки. Кроме того, в составе судей были генеральные секретари от Бельгии и Швейцарии и, для работ на русском языке, Ю.Н. Маклаков, профессор Католического университета в Париже и Лилле.

Такое жюри было объявлено единственным судящим органом. Нигде в условиях не указывалось, что, кроме его суда, возможен или допустим иной суд.

Через три года, после достаточно долгого разбирательства присланных со всего света работ, международное жюри, как то явствует из опубликованного в русской печати письма Ю.Н. Маклакова, присудило две высшие награды нам, русскому писателю Т. Таманину за его роман «Отечество», и мне, за мой роман «Вьюга», представленный на конкурс как в русском тексте, так и в переводе и обработке по-французски Н.И. Облонской.

3 марта 1936 года состоялся особый годовой акт Католического института в Париже, в ведении которого находится Академия общественного воспитания и сотрудничества. На этом акте кардиналом Бодрильяром был объявлен совершенно неожиданный исход конкурса: присужденные мне и Таманину премии нам не были выданы, мы оба исключены из списка лауреатов, и на наши места «просто передвинуты по списку» другие кандидаты.

Парижские газеты, в частности обе русские, а также «Эвр», «Интрансижан» и несколько позже «Либертэ», «Пти Паризьен» и многие газеты русской эмиграции, отмечая такой исход конкурса, сообщали, что, оказывается, католическая цензура не согласилась с суждением академика Анри Бордо и жюри, нашла, что в романах Таманина и моем «христианская мораль слишком растворена в славянском мистицизме», предложила нас обоих исключить из списка лауреатов и что международное жюри, составленное из католиков, подчинилось такому указанию цензуры.

Между тем, нигде в условиях конкурса не было ни малейшего намека на какую-либо цензуру или на какой-либо иной судящий орган, кроме самого международного жюри. По условиям, от представляемых работ требовалось одно: чтобы они описали «психологию большевизма и разрушения в семье, стране, обществе с точки зрения вековых традиций, созданных христианской

доктриной и моралью».

Через несколько дней после неожиданного исхода конкурса русская газета в Париже писала:

Как могло случиться, что решение независимого литературного жюри под председательством академика Анри Бордо оказалось отмененным и исправленным… католической цензурой? Каким образом произошел подмен судей? И почему подмен был произведен без ведома участников конкурса?

С этими вопросами сотрудник газеты обратился к кардиналу Бодрильяру, члену французской академии, ректору Католического института, под высоким покровительством которого был устроен международный конкурс.

Кардинал Бодрильяр выдал журналисту в ответ на его вопросы следующее письменное свое заявление:

Суждение, вынесенное с точки зрения доктрины, о некоторых романах, представленных на конкурс Академии общественного воспитания и сотрудничества, не означает, что авторы лишены религиозного или христианского чувства, оно значит только, что в некоторых отношениях они не соответствуют доктрине римско-католической церкви. Речь идет о произведениях г.г. Лукаша и Таманина.

Кардинал Альфред Бодрильяр

Ясно и очень просто. Две литературные работы, признанные лучшими международным литературным жюри, в прямой разрез с его решением были отвергнуты негласной конфессиональной цензурой только за то, что их авторы не католики.

Но, повторяю, нигде в условиях не было ни слова о католической цензуре, но в распоряжении устроителей конкурса было целых три года, чтобы вернуть работы, если бы они условиям конкурса не соответствовали, и устроители конкурса не могли не знать, и знали отлично, что и Таманин, и я – не католики, а

православные, и на конкурс для одних католиков и не подумали бы отправить наши работы.

И все же зачем-то понадобилось доводить нас до присуждения премии, выделять нас в лауреаты, чтобы потом перед всем христианским миром осудить наши работы и отбросить их, как не соответствующие видам католической цензуры и, будто бы, римско-католической доктрине.

Международный литературный суд явно исказился, таким образом, в конфессиональное судилище над христианской и православной совестью двух русских писателей.

Так это и было понято всем русским обществом. Волна глубокого общего протеста отразилась в двух постановлениях русских Союзов писателей и журналистов, в Париже и в Белграде.

Правление Парижского Союза опубликовало постановление:

Недавно в Католическом институте состоялось присуждение премии за «лучшие антибольшевицкие романы».

Жюри под председательством академика Анри Бордо присудило премии русским писателям гг. Лукашу и Таманину.

Решение это, несомненно, объективное, однако, было отменено высшими церковными кругами Рима по мотивам недостаточной католичности авторов и наличию у них «славянской мистики»…

Между тем, в условиях конкурса ничего не говорилось о возможности вмешательства в разрешение вопроса о премиях церковного начальства и суда специфического. Авторы посылали свои рукописи лишь литературному жюри, в беспристрастие и авторитет которого они верили.

Союз русских литераторов и журналистов в Париже выражает своим сочленам-писателям Лукашу и Таманину, несправедливо обойденным, искреннее свое сочувствие и глубоко сожалеет, что такой факт вообще мог произойти на

литературном конкурсе.

Правление Союза

Белградский Союз постановил:

В 1933 году был учрежден международный конкурс за лучший противобольшевицкий роман, организованный католической Академией общественного воспитания и сотрудничества в Париже.

В 1936 году жюри конкурса под председательством академика Анри Бордо присудило две премии писателям И. Лукашу и Т. Таманину.

Международный конкурс был объявлен для авторов всех христианских вероисповеданий, нигде в условиях конкурса не была предусмотрена какая-либо иная высшая инстанция для окончательного решения этого вопроса, – а потому лишение присужденных премий вмешательством католической цензуры, нашедшей, что в работах обоих авторов «христианская мораль слишком растворена в славянском мистицизме» и что оба романа не соответствуют «католической христианской доктрине», – является публичным нарушением условий конкурса и по форме, и по существу.

Союз русских писателей и журналистов в Югославии горячо протестует против такого неслыханного извращения задач международного конкурса, имевшего целью дать возможность писателям всего христианского мира открыть жуткую правду о большевизме вне рамок узких конфессиональных требований.

Вмешательство цензуры в окончательное решение не только оскорбительно для участников конкурса, но и сводит широко задуманное дело на степень частного предприятия, интересующего лишь ограниченные круги лиц.

Председатель Союза Ал. Ксюнин

Секретарь Союза В. Даватц

Настоящий протест Белградского Союза русских писателей и журналистов препровожден во все сербские и русские газеты, а также Его Святейшеству патриарху Сербскому, епископу Николаю Охридскому, епископам Досифею и Иринею Новосадскому и Загребскому.

Сами же мы, два русских автора, над кем парижское судилище учинило такую нечаянную расправу, можно сказать, так и остались в глубоком и горьком недоумении. Ни о какой борьбе с католической церковью мы, разумеется, не мыслили и разыгрывать из себя мучеников православия не тщились. Мы только обратились с самым скромным разъяснительным письмом к кардиналу Бодрильяру. В мае 1936 года, почти через три месяца после исхода конкурса, Академия общественного воспитания и сотрудничества опубликовала о нем отчет за подписью председателя международного жюри, академика Анри Бордо. Там наш случай изложен так:

После многих переговоров, первый лист трудов, достойных быть премированным, был составлен жюри.

И перечислены, во главе других лауреатов, наши имена и работа: моя и Таманина.

Но вслед за тем о нас двух идет такая приписка:

Доктринальное испытание, предвиденное программой конкурса, где было означено, что неистовость и опустошения большевизма должны быть изложены «в свете вековых традиций доктрины и морали христианских», повлекло исключение двух из этих работ, несмотря на литературное их достоинство: слишком неопределенный мистицизм занял в них место доктрины Церкви Католической.

Итак, уже не «цензура», о чем прямо заявлял в печати кардинал Бодрильяр, а некое «доктринальное испытание», и уже не «славянский», а «неопределенный мистицизм», что, впрочем, не меняет дела. Отметим все же, что в работах

христианских писателей-некатоликов и не могло быть «места доктрине Церкви Католической». Приходится только повторить снова, что ни о каком особом «доктринальном испытании», понимаемом как испытание католическое, в условиях международного конкурса, обращающегося к христианским писателям всего мира, а не только к католикам, отнюдь не упоминалось ни намеком, и такое небывалое «испытание» для литературных работ писателей-некатоликов никак там не было «предвидено». В условиях не было ни слова и о «доктрине Церкви Католической», а требовалось от христианских писателей всего мира изложение темы «в свете вековых традиций доктрины и морали христианских».

На этом и можно закончить странную историю странного парижского конкурса.

Не тщетная гордыня, а человеческая совесть подсказывает мне желание, чтобы эта моя книга дошла теперь до всех честных людей, какие только есть во всем человеческом мире. Я желал бы, чтобы моя книга дошла и до Римского Престола, и прошу о том моих читателей-католиков. Я еще верю, что правда есть на земле.

Пусть теперь судят обо всем сами читатели. А я хочу верить, что пойдет моя книга по свету и постучит в каждую дверь, где живы честные люди.

Иван Лукаш

Медон, 16 мая 1936 года

Глава I

Этот петербургский дом был такой же, как все другие дома, заселенные городской беднотой.

Дом стоял на 14-й линии Васильевского острова, у Малого проспекта, и не отличался ничем от других домов, среди которых был втиснут. Построили его, вероятно, лет сто назад, и на его стенах, крашенных желтоватой краской казенного образца, на дворе, выложенном булыжником, сквозь который пробивалась летом трава, на покосившемся крыльце в подвал, – на всем была

печать пасмурной запущенности старого жилья.

В доме жили департаментские чиновники, конторщики, учителя гимназии, пехотные офицеры, бедняки штабс-капитаны, обремененные семьями, причем обычным потомством у таких воинов были голенастые, робкие девочки, а на самой верхней площадке жили учительницы музыки. В полдень по всем четырем этажам разносились оттуда дремотные гаммы.

В доме жили и петербургские немцы: вдова Вегенер с сыном, сдававшая комнаты горным студентам. Покойный Вегенер поставлял в магазины офицерских вещей плетеные хлысты, кожаную амуницию, английские седла удивительно прочной и чистой работы. В прихожей Вегенеров, в небольшой витрине под стеклом, как в музее, хранились работы покойного мастера: ошейник с бубенцами и плетеная цепочка для часов в тончайшем налете пыли. Там же стоял точенный из черного дерева арап в белой чалме, с агатовыми глазами, державший деревянное блюдо. Арап был некогда заказан седельнику и не взят табачным магазином.

В подвале окнами на проспект, у самой панели, жил слесарь Кононов, а в подвале окном на двор – сапожник Потылицын.

Рядом с синей вывеской «Чай. Сахар. Кофе» на углу красовалась вывеска парикмахерской. На вывеске был намалеван человек в черном сюртуке, повязанный салфеткой, с таким шафранным лицом и тучей черных волос, что казался по вечерам и чертом, и висельником. Под висельником на подвальном окне была еще доска, прижатая к стеклу, а на ней чернилами выведено одно слово «Штопка». Там жил портной Щеголев.

На парадной лестнице приятно пахло теплом жилья, жареным кофе, табаком и сдобными булками, а на черной, где у чердака, изгибаясь, мяукала чья-нибудь кошка, – капустой, холодными антоновскими яблоками со Щукина двора, малиновым вареньем и сырой, кисловатой берестой от дров, какие разносили по этажам дворники, глухо стукавшие на кухнях вязанками.

Те же запахи жилья были здесь и пятьдесят, и сто лет назад, как будто жильцы дома только повторяли жизнь друг друга и всех тех, кто населял дом до них.

Менялись, и то отчасти, физиономии обитателей, их внешность и формы, причем при каждом новом царствовании обязательно перешивались покрои форменных мундиров и каждый десяток лет по новой моде носили жилеты, не говоря уже о дамских нарядах, но и пятьдесят, и сто лет назад так же пахло на лестнице пирогами с капустой, жареной рыбой, берестой.

Люди грузнели к старости, жаловались друг другу на ревматизмы и прострелы, по самым ничтожным причинам и самыми ничтожными словами, каких не могли бы пересказать, ссорились с женами и домашними, коротали ночи за картами, нетрезво шумели на масленой, болели зубами, начинавшими гнить под сорок, злились, слушали с тяжелой головой звон ко всенощной, сиплый в оттепель, ходили каждый день по тем же плитам панели, зная все выщерблины и приметившиеся царапины на граните, и умирали от водянки, рака, простуд, опоев, угаров, о чем иногда писалось в газетах.

Это был пасмурный облик буден, напоминающий заспанного петербургского обывателя после дурной ночи с несварением желудка.

Но под такой внешностью у каждого жильца была жизнь своя, совершенно неповторяемая и необыкновенная, легкая и светящаяся, те бесплотные дуновения подлинного бытия, какими, кажется, только и отмечает по-настоящему человек свое странное пребывание в этом странном мире.

Штабс-капитан Сафонов со второго этажа, внешне похожий, даже с той же лысиной, на штабс-капитана, обитавшего в этой квартире в 1831 году, в самые нечаянные минуты, на казарменном учении или когда генерал с тугим, багровым лицом рассказывал очередной анекдот, вспоминал внезапно, со щемящей и нежной болью, как носил на руках свою Любу до рассвета, горячую, в скарлатине, как слушал смутный бред ребенка, и тихо звенели шпоры. Такое воспоминание казалось иногда штабс-капитану Сафонову необходимее всего, что копошилось вокруг каждый день, как будто оно и было его истинным бытием.

Так и коллежский советник Маркушин, сумрачный, с намыленной щекой, в туфлях и опущенных подтяжках, с рыхлой грудью, видной в прореху рубахи, после ночи, когда ему снились ломовики железом, смотрел в окно на двор, мутный от дождя, и переставал мылить щеку, слушая забредшего шарманщика.

Маркушину становилось хорошо необыкновенно, и он думал, что не исполнено что-то в жизни, осталось непонятым, он сам остался непонятым, как безмолвно замкнутый незнакомец, отделенный от всего света, от своей жены, старшего сына Николая, от всех.

Колченогий черный ящик еще ныл на мокром дворе, неясные мысли проходили, коллежский советник уже мылил щеку, и только щемящие дуновения, бесплотные, неизъяснимые, помнились ему, и они-то и были настоящей жизнью.

Водопроводчик Кононов, крупный, скуластый, со стриженой головой, любил слушать, как его Ванятка после беготни, в черных детских валенках, с влажной, точно мышья шерстка, головой, глядя на отца сияющими глазами, отвечал ему стих «Буря мглою небо кроет».

Кононов смотрел на сына сквозь очки, пристально и удивленно, вдруг хмыкал носом и проводил жесткой рукой по голове мальчика, а Ваняткина мать, Параскева Кондратьевна, дурно понимая, что говорит сынок, от сладостной нежности к нему и к ладным словам, хотела плакать. Это были те же мгновения, как у Сафонова или Маркушина.

В подвале у портного Щеголева после смерти жены поселился грустный и пустой запах вдовца. К нему все реже стали носить ветошь на штопку, штаны и пиджаки на утюжку. Щеголев сильно запил и со смутным чувством обиды на весь мир, на небо и землю, когда был трезв, искал в своей затрепанной Библии какого-то настоящего слова, верного звука, какой мог бы утешить его. Потом Щеголев пропал из дома вовсе, но на окне пустого подвала долго пылилась вывеска «Штопка».

Его приятель по пивным Малого проспекта, сапожник Потылицын, с черными и грубыми от дратвы руками, дрожащий пропойца, отдающий скисшей водкой, подкорченный, сухопарый скандалист, не раз избиваемый дворниками, слушал иногда щеголевскую Библию.

Он следил, покачивая ногой в опорке, за шевелящимися губами портного, за тем, как он торжественно водил пальцем по строкам, точно слепец, и думал о таком прекрасном, для чего нет слов ни у кого на свете.

А к вечеру, пьяный, всклокоченный, с опорками, набитыми снегом, Потылицын скандалил на Малом проспекте.

Шел снег. Улица сновала, бело дымилась. На углу собиралась толпа. Потылицын истошно и смутно кричал: «Все понимаю, не боюсь, все», – точно в самом вопле хотел услышать звук чего-то настоящего, объяснение всему.

Молодой городовой в черной шинели с красным шнуром подходил и зажимал ему рот пятерней в нитяной перчатке. Городовой сажал его в пролетку насильно. Потылицын выл и вырывался. Городовой уминал его на дно санок, покрасневши с натуги и от обиды. Сапожник затихал у его ног, сидел на корточках, бледный. Его пальто и лицо были в снегу и крови.

Так они ехали к участку. А где-нибудь на дворе тихо звенела шарманка, может быть, тот же колченогий церковный органчик, какой слушал коллежский советник Маркушин.

Городовой, извозчик, Потылицын, протрезвевший в белом мелькании, слушали шарманку, и лица у всех становились спокойными, немного осунувшимися, светились от снега.

Городовой говорил тихо и просто: «Чего же ты, сукин сын, кочевряжился?» Сапожник улыбался ему виновато и рассеянно, как будто слушая в звуке шарманки или в самом шелесте снега, светлом и грустном, то прекрасное, настоящее, что слышалось ему и в невнятном звуке щеголевской Библии.

А когда у Маркушина, у музыкантш, Вегенерши или у штабс-капитана, дочь которого носила имя грации, Аглая, зажигали рождественские елки, и они, смутно теплые, сияли нитями золота, во всех этажах дома, вокруг елок, сначала говорили громко, с веселой торопливостью, потом умолкали. Задумчиво смотрели из потемок домашние, и жизнь казалась всем святой, тихой и нежной, как елочные огни. В рождественский вечер огнями елок светились кротко все окна на Малом проспекте.

Прекрасная, затаенная тишина была у елок утром, когда они стояли серебряно-белые, точно окутанные нежной фатой, в волнах едва дрожащих бус, а пол был усыпан иглами. От елей во всем доме пахло какой-то вечной прохладой.

Еще необычайнее была ночь пасхальной заутрени, когда на улицах шуршала толпа, пешеходы шли по мостовым и трамвайным рельсам. Все дома и церкви были окружены огнями. Огромнее казались колоннады Исаакия и Казанского собора, освещенный снизу и точно бы колеблемый гранит. Под колоннадами и за оградами церквей святили куличи и пасхи. Над ними истаивали на апрельском ветре тонкие свечи.

В самую полночь отворялись все церковные двери, и крестные ходы с наклоненными звенящими хоругвями, раскидывая сияющий свет, сходили в темноту.

В один час по всей ночной России точно бы выходили под колокольный звон из золотых иконостасов сонмы воскресших, возвестить Воскресение.

Двор дома на Малом проспекте в пасхальную ночь был посыпан песком, у панели горели плошки.

В пасхальную ночь хозяин магазина «Чай. Сахар. Кофе», невысокий пожилой купец в картузе, простой русский человек с острой седой бородкой и в очках, стоял у ворот за легким стульцем, на котором сидел его сын Аполлинарий. Глухонемой юноша не двигал параличными ногами, худыми, как палки, в суконных сапожках.

У ворот стояли с купцом дворники, слесарь, портной, Потылицын – все в чистых пиджаках и рубахах. Они стояли строгие, тихие, в ожидании колокола заутрени, в смутном чаянии чуда, от какого иным станет все и пойдет Аполлинарий. Тихим заревом светилось апрельское небо.

Ночной колокол возвещал Воскресение. Все, снявши шапки, христосовались, говорили негромко «Христос Воскресе», отвечали «Воистину». Апрельский ветер едва шевелил волосы, Аполлинарий что-то жалостно и счастливо мычал, в его кулачке дрожала пасхальная свеча.

Огни заутрени мелькали на всех улицах, на Неве, на темных барках. Необычайно чист и покоен был воздух, и казались бесплотными, прозрачными голоса людей, их лица над горящими свечами.

На темной Неве, на буксирных пароходах, при свече, прикрытой желтым картузом, разговлялись на воздухе команды крошечной пасхой с изюмом из мелочной лавки, а в доме на Малом проспекте, и во всех домах от воскового огня и цветов был, как и на Рождестве, какой-то запах вечности. Нева и небо светилось тайно, и во всем в ту необыкновенную ночь было прозрачное чаяние.

Каждый вечер в магазине «Чай. Сахар. Кофе» собирался домовый клуб. К хозяину приходил слесарь Кононов. Они играли в шашки. Слесарь рассказывал о своем Ванятке. Хозяин радовался успехам и шустрости мальчика и думал, что таким же мог быть и его Аполлинарий. Слесарь был когда-то матросом на крейсере, усмирял Китай. Они говорили об англичанах, немцах и о последнем пожаре в Гавани. В шашечный клуб приходил и Щеголев. Почтительно стоял он, не соглашаясь присесть, был слегка нетрезв. Портной приходил сюда слушать тишину.

Звучный и чистый ход часов в магазине тоже был звуком вечного, блестели начищенные медные весы, очень сильно и горько пахло кофе. Аполлинария никогда не было слышно. Щеголев смотрел, как игроки двигали шашки на табурете. Из дома доносилось смутное звенение пианино, неясные голоса, может быть, у Маркушиных или у штабс-капитана.

Этот легчайший звук единства, человеческий лепет, пронизывал вечерний дом, и невольно вслушивался в него молодой корабельный инженер над своим чертежом, или Отто Вегенер, доучивающий балладу Жуковского, или Паша Маркушин, гимназист второго класса, посланный матерью вниз за фунтом сахара кускового.

Мальчик, как и Щеголев, почтительно смотрел на шашечную доску, до него доносились голоса игроков: «А мы ее туда, а мы твою дамочку запрем», и Паша, как все, слушал звук единства, тишину вечера.

Настоящая жизнь жильцов дома на Малом проспекте была не в том, как они одинаково служили и работали, читали газеты, повторяли сплетни и болтовню других, копили и тратили, скандалили из-за вытряхнутых над окном пыльных ковриков или из-за ночных туфель, засунутых под диван, как женились и болели, рожали и умирали.

А была их настоящая жизнь вот в таких легчайших дуновениях, от чего необыкновенно хорошели самые некрасивые лица, в сокровенном свете самого состава человеческого, в смутном слышании и чаянии чего-то прозрачного, в свете вечного, прекрасного, что сбудется, и обнимет, и сочетает весь мир в единодушие чуда.

Несбываемо прекрасное было в том, что слышали люди на мгновение в дальнем благовесте в холодный мартовский день, когда небо зеленовато и огромно над Невой, или в зимних сумерках, когда зажигали в доме огни, а кто-нибудь шел по двору и смотрел на отсветы окон на снегу, или в шуме сирени на заднем дворе, в гудке буксира на Неве и как ветер раздувает траву.

Несбываемое и прекрасное было и в простых словах Евангелия, трогавших внезапно, в церковном пении, и в том, как дочь штабс-капитана Аглая и Оля Маркушина бегали вместо гимназии хоронить на Крестовском острове чижа, обернутого в кружево, в коробке из-под лакированных туфелек.

Девочки торопились по проспекту с птичьим гробом, припрятанным в ранце, а потом много лет позже будет думать Аглая, что пугливые птичьи похороны были прекраснее всего в ее жизни.

Поколения жильцов исчезали и давали место другим, точно бесшумно и беспрерывно по старому дому, на поворотах его каменной лестницы, с истертыми ступенями, по утоптанному заднему двору, где у сарая сушили на веревках белье и были свалены занозистые ящики из-под чернослива, лилась все та же одна человеческая река.

Бессонницы, слезы, жалобы, шепот молитвы, чьи-то шаги, замолкающие на верхних этажах, шелест страниц, стыдливый смех на черной лестнице, голос матери, гаммы под детской рукой, то, о чем смутно кричал на дворе пьяный сапожник, все человеческие страдания и все радости, все приметное и неприметное, что оставляли после себя люди, их вещи и домашние звери, след дыхания поколений – все в том доме, как и в других домах, было полно одним чаянием смутным, что кто-то еще придет и утешит, скажет самое простое и значительное о жизни человека и откроет необыкновенный свет, какой чувствовал в себе каждый.

Тот, кто должен открыть все, уже ходил рядом, но словно бы далеко, неярко.

Жильцы этого дома, как и всюду, хорошо знали о Сыне Человеческом. Дети в доме, как и в других домах, повторяли по вечерам «Царю Небесный», знали все, что сама жизнь должна стать Его любовью и Его добром.

Это было понятно само собою, подразумевалось, об этом никто и не думал. Это было так понятно, что даже прискучивало, было так же обыденно, как то, что на казарменных дворах солдаты с дикими детскими глазами, открывая рты и не думая, пели каждый вечер невнятным хором «Отче Наш».

Жизнь в доме как бы застаивалась недвижно, не протекала больше, но род, безмолвно сменявший род, всегда исчезал с мыслью и чаянием, что еще не разгадана жизнь, не раскрыта, но будет раскрыта так, что переменится все: человек, небо, земля. Это было смутное чаяние неминуемой перемены самого состава земли и всего сущего, Воскресения.

Каждый жилец дома хотя бы раз думал, кто он такой и зачем он на свете, каждый знал, что носит образ Сына Человеческого, и Его свет, мерцающий в каждом, и был настоящим бытием человеческим.

Глава II

В доме, если убрать его стену, любая квартира, как и в других домах, оказалась бы вроде крошечной сцены. На этих сценах-клетушках, друг над другом, с их чуланцами, спальнями, уборными, кабинетами, и разыгрывались жизни жильцов.

Общей же сценой, можно сказать, амфитеатром, или форумом дома, был задний двор, где играла детвора.

Задний двор представлял собою вытоптанную площадку у стены соседнего дома, слепой и серой, в подтеках не то сырости, не то копоти. Покосившийся сарай с пробитой толевой крышей на двух столбах притулился к стене. В сарае были свалены ящики из магазина «Чай. Сахар. Кофе», кем-то давно забытая ржавая кровать, пыльные доски и рассохшиеся бочки, кажется, из-под капусты. Среди хлама высились там чьи-то старомодные сани, помятые и облезшие, с продавленным передом и поднятой оглоблей, на которой болтался ржавый крюк.

В сарае пахло сырой землей.

Вдоль стены летом пробивалась яркая травка. На кусте сирени за сараем распускались две-три лиловых жидких грозди, их, точно по уговору, не трогал никто. Лепестки сирени осыпали крышу сарая и утоптанный двор.

В тупике за кустом сирени была железная лестница на крышу. С крыши, где страшно гремели по железу шаги, светло открывалась с высоты Нева, Николаевский мост со снующими черными человечками, свинцовый купол Исаакия в блеске. Не очень-то легко было пробраться на крышу незаметно от дворника.

Летом на заднем дворе сушили белье. Двор превращался тогда в таинственные узкие галереи с едва колеблемыми белыми стенами из влажных простынь, пронизанных солнцем.

Осенью у сарая складывали для жильцов поленницы дров. На мокрых поленницах, в сажень высотою, пахнущих берестой и холодом, разыгрывались отчаянные сражения казаков-разбойников.

На заднем дворе была еще дверка в подвал с висячим замком, вечно запертая. Впрочем, от самого легкого толчка она поддавалась бесшумно. В подвале были темнота и мягкая пыль, сероватый прах, никем не тревожимый, а рядом, в другом подвале, где недавно обитал портной Щеголев, иногда показывалась, и это знали все в доме, покойница в белом, жена исчезнувшего портного.

Только для скучающего глаза, переставшего замечать чудесное на свете, задний двор был обычным небольшим пустырем, завешанным бельем и заваленным битыми ящиками.

На самом деле это был мир сверхъестественный, прекрасный, и населявшая его детвора изумленными глазами следила за всеми его чудесами и ужасами.

Для детей весь мир был задним двором их дома, смутно громадным русским двором, с тысячами опасностей, приключений, путешествий, побед, и над ним светилось одно русское небо.

А те сани в сарае, с пробитым передом и выпяченными полозьями, только с виду были рухлядью. На самом деле, смотря по случайностям игры, сани с добродушной готовностью превращались в крепостной форт, в корабль или в воздушный шар.

На двор приходил шарманщик – чернобородый, тощий, в пыльной бархатной шляпе, с облезшим попугаем на своем черном ящике. С шарманщиком тащилась худая девчонка, на которую жалко было смотреть. Отогнувши с лица байковый платок, девчонка пела визгливо: «Пускай могила меня накажет». Шарманщик был волшебник печальный.

Зато веселым волшебником был другой шарманщик, долговязый, с ним кривоногий гармонист.

Они приходили по воскресеньям. Долговязый изображал собою целый оркестр в одном человеке: на голове – медная шапка с бубенцами, под рукою – медные литавры, за спиной – турецкий барабан.

Подвыпившие волшебники, кривоногий и долговязый, подымали во дворе отчаянную стукотень, звон и грохот, к удовольствию всех дворовых кухарок, налегавших на подоконники своими Минервиными фасадами.

Птичники, собачники, халат-халат, обсохший татарин в заношенной тюбетейке с двумя медными подсвечниками в руке, с чиновничьими или зелеными студенческими штанами, перекинутыми на плечо, деревенские бабы, владимирские и тамбовские, синеглазые молодки, высокие голоса которых внезапно играли в глубине двора, как приятная светлая музыка, – «клюква подснежная, клюква», – все было чудесным.

На двор приходил еще странный человек. Весьма задумчиво, самому себе, шипел:

– Точить ножи-ножницы, точить.

Точильщик издавал жидкий звук цикады, и сам, с точильным камнем на козлах за спиной, походил на серую цикаду.

Люди, заглядывавшие на задний двор, шарманщики и точильщики, как и выброшенный разбитый стул или раззява-сапог, побуревший от непогод, с пастью, полной деревянных зубов, – все становилось чудесным на заднем дворе. Весь мир был в нем не чужим, и все люди – «дядями» и «тетями», точно мир, со всеми его людьми и вещами, сходился на дворе в одно огромное волшебство.

Запросто смешивалось на заднем дворе небывалое с обыденным, любая вещь охотно меняла свое существо, и груда старого тряпья оказывалась великолепными королевскими одеждами, горностаевыми, в алмазах.

Под старыми девами-музыкантшами, ниже Вегенерши, но выше штабс-капитана Сафонова, жила в доме семья чиновника уголовного департамента Сената, Петра Семеновича Маркушина.

Младший из Маркушиных, Паша, гимназист лет одиннадцати, дома только зубрил, обедал и спал. Дома жила одна Пашина оболочка, а его дух весь был на заднем дворе.

Паша Маркушин с Ваняткой Кононовым, сыном слесаря из подвала, и Витей, сыном писца горного департамента с черной лестницы, могли бегать в Соловьевский сквер смотреть ту самую скамейку, где чей-то ангел-хранитель забыл свои крылья, свечу и фонарь.

Они хорошо знали, что ангельские крылья – белые, волнистые, с алым огнем на концах, а фонарь – как у похоронного факельщика. Рассеянный ангел, которого все трое выдумали сами, был до того несомненен, что они даже пытались расспрашивать о нем старичка-сторожа с бляхой.

В трех дворовых подростках очень легко и осторожно, но уже намечалось, какими они будут позже.

Ванятка Кононов, широкогрудый драчун, со звонким голосом, потный, пышащий жаром в игре, был существом заносчивым и доверчивым, отчаянным и горячим.

Витя Косичкин, с нежным и продолговатым лицом, застенчиво опускавший ресницы, и молчаливый, был больше похож на девчонку. Ванятка, когда подерутся, извалявшись в пыли и грязи, орал каким-то диким басом на весь двор. Витя же плакал беззвучно, навзрыд. Этот странный мальчик любил

грустные стихи, запах цветов и всегда ходил, как во сне. В играх он во всем сомневался: «А почему сани – крепость, когда сани, а почему Багдад, когда помойная яма». Он соглашался играть нехотя, с недоверчивой улыбкой, но потом, прозрачно бледнея, увлекался игрой больше всех.

Паша Маркушин был похож лицом на мать. Мальчик был кости легкой, худобенький, как говорила о нем нянька, немного скуластый и курносый, с коротко остриженной головой. Особенно глаза его напоминали мать. Светло-карие, теплые, они мгновенно наполнялись сияющим светом, едва он задумывался.

Такой необычный свет в семье Маркушиных был только в карих глазах матери. У старшего брата, Николая, глаза были отцовские, навыкате, холодно-серые, а у сестры Ольги – голубые, как бы пустые и сильно красневшие, когда Ольга плакала.

Сестра, уже кончавшая гимназию, была самым непонятным для Пашки существом. К ней ходили такие же, как она, хихикающие странные существа с бантами и мелко заплетенными косицами, в коричневых платьях.

Пашка всех их почему-то стыдился. Ему казалось, что они смеются над ним исподтишка, а своей сверстницы, тощей, длинноносой и бледной девочки, Любы Сафоновой, с гладко причесанными волосами, он просто боялся: так она была с ним строга и надменна.

Смешливая Ольга, вся в ямочках – и на локтях, и на спине (о них нянька говорила, что там ангелочек поцеловал), прозвала его Пашкой-Неряшкой. Она о чем-то шепталась с матерью, что-то скрывала, секретничала, и за все это Пашке было обидно и стыдно.

У старшего брата Николая, тоже кончавшего гимназию, волосы были стрижены ежом, а на мизинце отпущен длинный ноготь, как у китайца.

Николай с равнодушным и холодным презрением относился к Пашке, и тот это чувствовал. Он горячо ненавидел старшего брата.

Еще не так давно он дрался с ним с бешенством, потом Николай как-то вдруг стал взрослым. Он занимался с Пашкой по арифметике и латыни. Мальчик

понимал свою зависимость от него и весь вспыхивал, когда Николай говорил сквозь зубы, не повышая голоса: «Лентяй, дубина, дурак, ничего не понимаешь».

Если бы Николай стал бить его по щекам или кричать, мальчик бросился бы на него с остервенением, а так, страдая от стыда, он знал и сам, что дубина по арифметике и дурак.

Все было разным в Николае и Пашке. Николай шел первым учеником, получал награды, его книги были обернуты в чистую бумагу, точно нечитаны и нетронуты, сапоги стояли рядком под кроватью, как по нитке, и одеяло на кровати никогда не мялось. Странно, что мать, как и Пашка, не любила мертвой аккуратности Николая. Она неясно чувствовала холодное равнодушие старшего сына ко всему на свете. О Николае она как-то подумала: «Точно мертворожденный», и ей стало страшно.

А вокруг Пашки все было разбросано, книги порваны, точно пожеваны, тетради в чернильных кляксах, скомканы, на стуле поверх рубашки валялись штаны, один сапог был заброшен под кровать, другой – под стул, чулок не отыскивался, а учился Пашка, кажется, хуже всех в классе.

На задний двор Николай выходил только для того, чтобы сделать Пашке за что-нибудь злое замечание или позвать домой.

В хороший день, к вечеру, хозяин магазина «Чай. Сахар. Кофе» выводил на двор Аполлинария.

Ребята старались не смотреть, как у Аполлинария, поддерживаемого отцом, подгибаются ноги, точно бескостные или у папочного плясуна. Дети гурьбой бросались нести его креслице из точеного ореха, легкое, обитое синим потертым бархатом.

Креслице ставили у куста сирени. Аполлинарий сидел тихо. Это был молодой человек с остриженной острой головой. Его мягкие, как пух, волосы сквозили светом. Лицо паралитика было желтое, большое, с приоткрытым ртом, как бы безглазое. Иногда он жалостно пытался улыбнуться мальчикам, мычал и елозил руками по байковому платку, каким отец заботливо окутывал ему ноги. Были заметны тогда его глаза, синие и тоже сквозные.

Тяжело дыша, потные и горячие, занятые игрой, ребята подбегали к Аполлинарию. Ванятка или Пашка спрашивали на ходу: «Здорово я дал свечу?» Аполлинарий начинал елозить руками.

На задний двор приходил еще Отто Вегенер. Он был старше всех его обитателей. Он кончал гимназию, как Ольга и Николай. У него было немного вытянутое, внимательное и веселое лицо, русый вихорок над светлым лбом, светлое пенсне без ободков. Вегенер всегда был в очень чистой гимназической черной куртке, из-под которой выпущен белый воротничок. Он с удовольствием смотрел на игру ребят и смеялся наивно и приятно.

Пашке нравился его светлый смех и то, что он, старший и такой чистый, приходит к ним. Ванятка наоборот терпеть не мог долговязого немчуру. Немец-перец-колбаса вызывал в нем жаркую ненависть, особенно его чистенькое пенсне без ободков. Ванятка однажды нарочно залепил мячом в его стеклышки. Немец не понял, что Ванятка нарочно, и стал подбирать пенсне, смешно щурясь.

Из-за немца Пашка подрался с Ваняткой насмерть. Он пришел в тот день домой в рваной куртке, бледный, в пыли, а Ванятка с глазом, вспухшим от синяка, зычно орал на весь двор. После такого случая Ванятка вдруг, как и Пашка, понял, что Отто человек необыкновенный, очень хороший, и всячески стал показывать немцу, какой он, Ванятка, смелый в играх, ловкий в лапте и как он лучше всех бегает.

Самое удивительное в Отто было то, что он знал названия разных трав и бабочек. Немчик, как водится, оказался ботаником, и ребята стали приносить ему всякую дрянь, какую только находили, чаще всего дождевых червей, а то за хвост на веревочке волокли дохлую крысу. Они гурьбой стали бегать за Отто в Петровский парк и на Взморье, где он собирал гербарий.

Особенно сдружился с ним Маркушин. Все, что говорил Отто, сияя очками, казалось ему удивительно любопытным и добрым. Пашка страшно гордился, что Отто разговаривает с ним, как с взрослым.

Сквозь карие глаза Пашки, сквозь его худенькое, ловкое тело, струилась жизнь, как прозрачный светлый ветер. Так же струилась она сквозь его мать.

Пашка один в семье чувствовал материнский воздух, прозрачное тепло. Он был еще маленьким и потому даже видел золотистый свет, исходящий от матери. Тот свет потом будет вспоминаться ему, как и всем людям, так, точно самая жизнь есть только забвение света, виденного в детстве.

Иногда, после беготни на дворе, он зарывался головой под платок матери. Темный материнский платок был целым миром. Под платком он обнимал мать за талию, по-мальчишески крепко.

Мать всегда была чем-нибудь озабочена, она говорила сердито: «Что за глупости, Пашка», и привычно и небрежно проводила жестковатой ладонью по его влажным волосам:

– Бегаешь, бегаешь, посидел бы ты, безалабера…

Мать со смутной тревогой и жалостью думала, что Пашка чем-то не укладывается в ту жизнь, какую следует вести и какую ведут кругом все. Мать думала, что Пашка неумен. «Этот в меня, попроще», – думала она кротко.

Гимназия действительно тяготила мальчика. Он стал удирать с уроков в Биржевой садик, куда привозили с таможни желтых и синих попугаев и серых мартышек. Он пропадал с Витей в Эрмитаже, где в сумраке зал, среди коричневых полотен, они выдумали безмолвную и неприметную игру со всеми святыми и пастухами, апостолами, папами в тиарах и пышными принцессами, точно они тоже то пастухи, то святые.

С Ваняткой он бегал смотреть пожары, о которых оба узнавали особым чутьем. На пожаре Новой Голландии их едва не потоптал пожарный обоз. В Галерной гавани они как-то заблудились и попали на Смоленское поле.

Александровская толкучка, Кронштадтские пристани, водопойные будки для ломовых лошадей, набережная, где булыжники в пятнах пароходного масла и пахнет свежей водой, пенькой, ветром, серые миноносцы, смутно видные у Балтийских верфей в синеватом Невском тумане, слепой мраморный лев с поднятой лапой у какого-то подъезда, плетущаяся на Смоленское кладбище конка, сухой и чистый запах пшеницы на барках, откуда их гоняли мужики, отмель на Взморье, с прозрачной водой, где они, снявши сапоги, ловили мелкую рыбешку, мелькавшую тенями, небо, прохожие – все было любопытным

волшебством и каждый раз поражало по-новому на их огромном заднем русском дворе.

На Взморье у барок, они втроем играли в индейцев. Витя, полузакрывши глаза тонкими веками, предложил покурить. Закурили папиросы «Голубка». Всем стало тошно.

Пашка пришел домой поздно, бледный, от него разило табаком.

Отец и домашние ждали его в столовой. Пашка напугался, что отец сидит такой торжественный, в форменном сюртуке и в широкой манишке с черным галстуком. Полные руки отца дрогнули, когда Пашка вошел.

Отец получил письмо от гимназического инспектора с вопросом, почему ученик третьего класса, Маркушин Павел, уже третью неделю не ходит в классы. С письмом отец ездил в гимназию.

– Поди сюда, – негромко позвал отец.

Мальчик подошел, побледнел. Отец поставил его между колен.

– Ты курил, – сразу почувствовал отец табачный запах.

Николай длинным ногтем поскреб щеку, с презрением посмотрел на Пашку и сказал:

– Хулиган.

– Молчать! – жадно крикнул на Николая отец, лицо мгновенно потемнело.

Весь страх за Пашку, который, оказывается, стал уличным, курит, стыд, испытанный им, когда он стоял перед тощим гимназическим инспектором с хроническим насморком и красным носиком, гнев, когда по дороге домой он воображал, задыхаясь, как изобьет Пашку, непременно тем самым камышовым прутом, каким выколачивают ковры и сюртуки, – все вырвалось в его крике:

– Молчать! Не вмешиваться, щенок.

Николай побледнел, сморгнул носом и проворно вышел из столовой.

Началась одна из тех сцен, какие не раз случались во всех семьях этого дома на проспекте и всех других домов.

Отец, точно задохнувшись, стал теребить Пашку, толкать его туда-сюда, кричать все те же слова, каких уже не понимал сам:

– Отцу врать, отцу, в хулиганы отдам…

Он стал бить Пашку по щекам, неловко, мягкими руками. Пашка зажал кулачками лицо, и тогда отец понял, что кричит не то, что надо. Передохнул, сказал сипло:

– В сапожники отдам.

Он посмотрел на этого мальчика в черной куртке, зажавшего кулачками лицо, заметно дрожавшего, и вдруг вспомнил, как совсем недавно сам мылил его в бане и тогда с жалостной любовью заметил, что на тощей спине Пашки позвонки проступают совершенно так, как у матери.

Петр Семенович со страхом подумал, что мальчик обманывает его, лжет (именно такое книжное слово «лжет» пришло на ум), бегает с уличными, может быть, уже ворует, что его худобенький Пашка, сын, пропадает, пропал, уже хулиган, воришка. Отец растерянно и виновато вытер платком лысый лоб.

– Так-то ты, Пашка, отца-мать огорчаешь…

Пашка головой кинулся ему в жилет. Отец был довольно тучен, жилет был широк, тепел, от него пахло так же, как от коврового дивана в гостиной, немного пачулями. Пашка рыдал без слез, стараясь охватить руками тучную спину отца, охватить не мог, царапал руки о хлястик жилета и бормотал глухой скороговоркой:

– Не буду, папочка, никогда, прости, не буду, никогда, не буду…

– Ладно, пусти. Реветь всякий умеет. Да пусти, тебе говорят. Ступай к матери. Это она тебя избаловала.

Обвинениями матери кончались все семейные сцены из-за детей у Маркушиных.

Пашку засадили за книги. Месяца два Николай, кусая ногти, мог за уроками делать с Пашкой все, что хочет. Потом Пашку снова стали пускать на задний двор.

У Маркушиных забыли о скандале. Один отец, когда Пашка прижимался лицом к его жилету и торопливо желал доброго утра, еще вспоминал с жалостью и стыдом, как бил своего худобенького по щекам. Быстро и небрежно, как мать, отец проводил теплой рукой по лицу мальчика:

– Ну, поди, безалабера, поди.

И Пашка уже мчался вниз по перилам лестницы, сидя боком, как амазонка.

К вечеру летнего дня задний двор был полон детских голосов. Подростки играли в лапту. Гудел мяч. Воробьи, вероятно, слушая голоса детей, щебетали дружно и шумно, проносясь вереницами над сараем.

Люди в доме кончали вечером свои самые обиходные дела, шили, читали, стирали, ставили самовары для вечернего чая, мыли в чанах детей, и все звуки дома, звонкие детские голоса, вереницы щебечущих воробьев, красноватое солнце на стене заднего двора – все было как бы одной простой и общей игрой, утихающей для того, чтобы начаться с новой зарей.

Глава III

Отец был подавлен заботами, дороговизной и, больше всего, наступающей старостью.

Старость он почувствовал внезапно, в июле, когда семья была в деревне под Лугой, куда ездили на дачу вместе с семьей штабс-капитана Сафонова.

Маркушин недели две до отпуска оставался один в городе. Летом в квартире было пусто и звучно, все в тонком налете пыли. Кресла, прикрытые белой бумагой, напоминали чем-то музей.

В ясный летний день Маркушин шел по набережной. Шаги звонко ударяли о гранит. Он подумал, что его ждут к именинам в деревне и что ему стукнуло пятьдесят семь. «Ничего не возвращается на свете», – подумал он. Ему уже не избавиться от одышки, ни оттого, что тускло тянет под ложечкой, не переменить грузного тела, белого живота, на котором не сходятся штаны, цвета глаз, двойного подбородка, затылка со складкой. Все это, наваленное на него, заплыло, как заводь, и держит в плену. Он пленник и будет влачить себя до конца, как в цепях. Он так и думал: пленник, цепи, влачить.

До конца останется и его кисловато-грустный запах, который был ему неприятен: вероятно, это был запах медных форменных пуговиц сюртука, окислившихся за многие годы, когда сюртук двигался на нем в сенатское присутствие и обратно.

На нем был еще жилет, крахмальная манишка, белье, какое он не очень любил менять, и сапоги с коротенькими рыжеватыми голенищами некрашеной кожи, припрятанные под штаны.

Удивительнее всего, что, например, подтяжки или сапоги, и запонки, дешевые, с синими камешками, вся его пустая оболочка, в виде просторного темного сюртука и головного убора с потертой чиновничьей кокардой и пропотевшей на донышке кожей, могут остаться после него нетронутыми лет еще сто, двести, а его уже не будет совершенно, он весь исчезнет, и никто не узнает, не полюбопытствует, кто такой был коллежский советник Петр Семенович Маркушин.

Никто на свете: ни мать, как он звал жену, ни дети, старший Николай, ко всему равнодушный, на кого он так надеялся и так боялся ошибиться в надеждах, ни Ольга, о которой он обиженно думал, что она пустельга, хоть шаром покати, ни младший Пашка, тревоживший его, ни те, кто ходил, курил и говорил кругом него в департаменте, ни прохожие, ни все люди на свете и, главное, он сам – так и не узнает, кто же он такой был.

Раньше он что-то понимал, а теперь все стало только страшить его, тяготить. Все труднее с детьми, все больше расходов, будто меркнет все, как перед ночью, и вот ходит его внешняя оболочка, застегнутая в черный сюртук, никому не нужная, непонятная, хмурый незнакомец для всех и для себя.

Теплота, легкость были раньше во всем, беззаботная сила светлого бытия, а теперь словно что-то забыто, потеряно, ушло и уже ничего не вернуть, и ничего впереди, один непроглядный сумрак. Сумрак, смерть.

Маркушина тяготил грузный закат, но он, полуугадывая, что именно тяготит его, старался все свалить на окружающих: мать, которая всегда виновата, Николай, расходы, неприятности с начальством.

Его облегчало такое мельчайшее, ничтожное; оно и есть, может быть, то, чем он подавлен. Это было раздражение стареющего человека на своих близких, оно стало необходимым. В семье начали замечать, что отец подался и поседел.

Это не была старость, но ее приближение, когда человека касается вдруг неясное чувство упущенного, страх, что самое основное, единственное, ради чего стоило жить, не сделано и не понято.

Иногда отцу казалось, что, если объяснить что-то Николаю, все еще может перемениться, пойти иначе.

– Видишь ли, Коля, – начинал он, и сердце замирало. – Я давно хотел с тобою поговорить… Видишь ли, не упусти, брат, жизни. Поторапливайся. Надо университет кончать, пора и мне помочь.

Это было не то, что он желал сказать. Он понимал, что сказать нечего.

Николай слушал отца бледный, с красными ушами. Оттого, что отец хочет, кажется, сказать что-то обидное, Николай отвечал заносчиво и со злостью:

– Но я, папа, кажется, все делаю. Вы могли бы не беспокоиться …

– Да, да, конечно, – соглашался отец, рассеянно думая: «И почему у него такая острая голова». Его раздражала новая привычка Николая подсмаргивать

носом. – Я и не беспокоюсь, чего ты злишься, и слова сказать нельзя.

С матерью уже давно, как подросли дети, отец не спал в одной спальне, но по вечерам мать приходила стлать ему постель на кожаном диване, в кабинете.

Она покрывала тюфячок белоснежной простыней и шотландским клетчатым пледом, он тем временем бесшумно ходил по кабинету в своем старом летнем пальто, служившем ему халатом. Он был в очень мягких, как татарские чувяки, сапожках, давно сношенных.

Как бы нехотя, но с любопытством, он спрашивал что-нибудь об Ольге или Пашке. Мать отвечала охотно, хотя знала, что все кончится раздраженными замечаниями, обвинениями. Она так и знала, что у отца во всем виновата.

Очень давно, в первый год замужества, когда она ждала Николеньку, Петр Семенович пришел домой нетрезвый, от него пахло водкой, он затопал на нее ногами, приказал снять с него сапоги. Она сняла ему сапоги и теперь, уже много лет, каждый вечер, покорно подает его чувяки. Когда-то она была бедной портнихой, красивой худенькой девушкой, смешливой, послушной и кроткой. Послушная кротость осталась у нее и теперь.

Мать принимала безропотно, что за домашнее виновата она. Она принимала и то, что Николай равнодушен и груб с ней, что Ольга, раздраженная тем, что не почищены ее тоненькие шевровые башмаки, кидает их ей с такой же злостью, как няньке Алене. Мать думала, что ничего другого она не умеет делать, как только обшивать, чистить и штопать на отца и детей.

Николай и Ольга считали себя во всем умнее матери. Ольга стыдилась, что мать простовата, кажется, плохо грамотна, что при подругах вместо «национальный» как-то сказала «нациальный».

Мать так заботилась о них, так ходила за ними и безропотно принимала от них обиды, грубость, капризы, что Николай и Ольга думали, что так это и должно быть.

Один Пашка помнил прозрачное тепло матери и вечером, когда она штопала носки отцу, надевши очки, потому что дурно стала видеть, забирался к ней на кресло. Он грелся под ее платком и мечтал с открытыми глазами.

Пашка чувствовал, что мать все ему прощает, что для матери он не дурак, не лентяй, как для других. Пашка был последний, поскребушек, и мать смотрела на него с такой улыбкой, от которой ее лицо молодело.

Она вся была в детях, в самых мелочах жизни. Каждый ее день и каждая ночь были одной заботой о мельчайшем, о таком, чего бы никто и не заметил, кроме нее.

Это худое тело, легкую фигурку, бесшумно снующую весь день по дому, пронизывали невидимые токи бытия. Мать, как Сивилла, всегда была в тревогах и в предчувствиях. Николай говорил:

– Мать только тревожится по пустякам…

Но точно одна мать понимала, что все в этом мире неверно, все мчится, как неутихающая буря, с вихрем темных несчастий и смертей, и, если бы ей дана была сила, она остановила бы страшный ход рока, все, чему промчаться неминуемо.

Одна мать в самом ничтожном, в самом мелком боролась с тем, что надвигалось на всех днем и ночью. Она изнемогала в борьбе, какой, впрочем, не замечал никто, и она сама.

После вечернего чая, около одиннадцати часов, когда мать стлала постель в кабинете, отец любил слушать ее разговоры о домашнем, как будто в ее простых словах могла быть отгадка того, что его тяготило.

В темном платье, не менявшемся годами, но все новом и ладном на ее худом теле, мать сидела на кожаном диване.

Из года в год повторялись те же слова, что надобно Паше новую шинель, вырос из старой, Ольге к Рождеству туфельки, мать называла их, как простые петербургские люди, баретками, что Алене пять рублей недоплачено, Вегенерша, говорят, за квартиру прибавит, в мелочной лавке много забрано, Пашка клопов, как будто, занес, надобно выводить скипидаром.

Отцу иногда казалось, что вот-вот она скажет настоящее, необъяснимое, но дрова, кухня, лавочники, картофель, провизия – все было не то.

А мать, позевывая, прикрывая рот продолговатой и красивой рукой, рассказывала о соседях. К студенту, который живет у Вегенерши, бегает одна, в горжеточке, модистка. Мать жалела ее, погибнет.

– Полно тебе, нашла кого жалеть, дур этаких.

Мать умолкала покорно. На его кожаном диване она уже отдохнула немного от вечной битвы, и ей было все равно. Она никогда с ним не спорила.

Отец знал, что сейчас она перекрестит его мелким крестиком, скажет: «Ну, батя, спи», и уйдет.

На диване сидела худенькая стареющая мать, какую он называл раньше Катюшей. Покорное и скромное вдовство сквозило в ней, вечное вдовство, проступающее к пятидесяти годам в каждой женщине, много тревожившейся и работавшей.

На худом лице матери проступал вечер. Ее волосы, зачесанные за уши, поседели на висках, и продолговатые руки, о которых он когда-то говорил: «Таких ручек, как у моей Катюши, ни у кого нет на свете», стали теперь жесткими от стирки, в продольных, темных морщинках, как у пожилых прачек.

От ее рук и от того, как она сидит, покорно позевывая, ему было еще приятнее, что их жизнь прошла.

– Ты бы, мать, себе платье, что ли, новое сшила, – говорил он, едва скрывая за обычной грубостью внезапную и виноватую нежность.

Это так удивляло ее, что она тихо смеялась, легонько хлопала в ладоши:

– Платье? Да что ты, отец, с ума спятил, что ли?! Или мне по театрам ходить?!

– А хотя бы в театры. Ну да ладно, как хочешь.

Много позже от всего детства и отцовского дома осталось у Пашки одно воспоминание, казавшееся ему необыкновенно значительным.

Это было воспоминание об осеннем вечере, в субботу.

В доме был особенно мирный час. В столовой горела лампа под желтым абажуром, от нее покоился на столе тихий круг света. Все двери из комнаты в комнату были отворены. В гостиной полутемно.

Брат Николай в серой тужурке лежал в гостиной на оттоманке, руки – под головой. Лицо у него было хорошим, нежным. Он слушал. За пианино Ольга пела романс о вечерней звезде, которая взошла и сияет. Голос у сестры был приятный, слегка глуховатый.

Отец совершенно тихо ходил по гостиной в своих сапожках, заложивши руки за спину. Пашке казалось, что самое значительное и хорошее не в том, что поет Ольга, он и не слышал слов, а в том, как бесшумной тенью, то попадая в полосу света, то исчезая, ходит отец.

Сам Пашка сидел в третьей комнате, материнской, дверь из зальцы была открыта.

Он сидел в потемках на узкой и плоской постели матери, за темной занавеской, куда спасался не раз от отцовских бурь из-за двоек в гимназическом дневнике. У матери после всенощной светилась за синим стеклышком лампада.

Он, пригретый под материнским платком, слушал пение и звон пианино.

Пашка думал, что таких вечеров прежде было как-то больше. Тогда мать с отцом ездили в Гостиный двор, за Неву, привозили целые груды пакетов, разные вкусные штуки, от матери, румяной, веселой, пахло морозом, а в прихожей, где было натоптано снегом, отец казался огромным, дымным, смеялся, и все его целовали. Раньше отец играл в гостиной на гитаре, и вспоминалось все это Пашке, как сон. Странно, что о том же думала, сидя с ним рядом, мать.

На дворе ходила мокрая вьюга, от ветра чуть дрожали темные окна, в печных вьюшках проносился свист. От непогоды за окнами особенно недвижным казался

круг желтоватого света под лампой, угол шкафа, громадный, уходящий во тьму, поблескивающая изразцовая печь, ножки комода. Все вещи жилья, огромные, добрые, несдвигаемые, точно были замершими кусками вечности.

Нянька Алена вошла в столовую, как в церковь, бесшумная в своих катанках. Теперь Пашка услышал, как отец, баском, очень осторожно, вторит Ольге. Все было так необыкновенно хорошо, что Пашка повозился и шепнул матери:

– Отец-то.

Мать и Пашка одинаково называли Петра Семеновича отцом. Мать молча и весело покивала головой.

Отец пел с Ольгой про звезду и «Утес». То, что семья собралась у лампы, что он честный человек, делающий для своих все, домашняя тишина, круг света на столе и старые, двухаршинной толщины стены старого дома, даже не чующие мокрой непогоды, – все трогало в тот вечер Петра Семеновича. Слова Лермонтова об одиноком утесе показались ему нежными, как заря. Наступающая ночь, какую он чувствовал теперь в себе, умолкание вечера, самая смерть – все показалось ему полнотою покоя.

Он вошел, как тень, в материнскую, пошептал, чтобы не спугнуть пения Ольги:

– А вы почему в потемках?

Мать улыбнулась ему молча, счастливо. Отец увидел Пашку под ее платком, мягко потеребил ему волосы, сказал, садясь на постель:

– Ну ты, Аника-воин, пригрелся.

И это было так ласково, что мальчик поискал в темноте руку отца, крупную, добрую, с большими пальцами, полными теплоты жизни, и поцеловал ее с благодарным шепотом:

– Батенька…

В тот субботний вечер отец, мать, все у Маркушиных полудогадывались, что ни тьма, ни время, ни смерть не могут уничтожить что-то в этом стареющем отце и в этой простой матери, уже повторивших себя в детях, у кого тот же смех, грудные голоса, те же движения, материнская легкая походка, глаза. Точно явились они во тьме для того, чтобы являться всегда, точно эта семья, как и все эти странные существа, люди, несущие легкий свет, исчезают и возникают снова во тьме, как одно существо, – Человек, – для чего-то являющийся вечно.

Глава IV

В конце августа Петра Семеновича на извозчике привезли домой.

Он был с портфелем, в летнем пальто, сбившемся на спине горбом, в чиновничьей фуражке, надетой на голову до самых глаз, козырьком вбок. Бледная щека Петра Семеновича была в помазке пыли.

Его привез городовой и неизвестный человек в порыжевшем котелке. Неизвестный снял котелок и вытер рукавом мокрый от пота лоб. Лысый человек удивленно улыбался. Он был нетрезв.

Петра Семеновича подняли на Английской набережной. В его бумажнике была кредитка, красноватая десятирублевка, квитанция и черная паспортная книжка. Его посадили на извозчика и повезли домой. Он был иссера-бледен, глаза потемнели, остановились, а рот приоткрылся. На извозчике он помычал что-то и привалился к плечу городового.

По улицам после легкого дождя ходили прозрачные столбы света.

Мелькали вывески булочных, пивных, колбасных. Пролетка остановила на мгновение стайку смеющихся девушек, переходивших улицу и подумавших, вероятно, что везут в участок пьяного, потом красный трамвай, в мокром блеске, остановил извозчичью пролетку. Петр Семенович всего этого уже не видел.

У Маркушиных, недавно вернувшихся из Лужской деревни, никого не было дома. Николай с утра ушел на лекции, Ольга была у профессора пения, Пашка – в

гимназии, а мать с нянькой Аленой – на Андреевском рынке, за провизией к обеду.

На дворе слесарь Кононов помог вынести Петра Семеновича из пролетки. Прибежала Аглая Сафонова в легком платке, худенькая, побледневшая от страха. Ее младшая сестра, Любочка, остроносая девочка с темными волосами, зачесанными за уши, пытливо следила, как дворник, городовой и другие люди несут Петра Семеновича неловко, но с охотным удовольствием, через двор, по булыжникам, к дворовому подъезду и как у Петра Семеновича мелко дрожат на груди руки. На дворе пахло сдобными булками.

Петр Семенович смотрел вверх, на квадрат синего неба, уже не видел неба, и глаза были как из стекла. На лестнице Аглая придержала ему фуражку на затылке, наклонилась:

– Петр Семенович.

Нетрезвый человек в котелке, по его носу в прожилках весело бежал пот, обернулся:

– Чего Петр Семенович, когда помирает…

Дворники открыли дверь в квартиру подобранным ключом, Петра Семеновича, как указала Аглая, уложили на кожаном диване, в кабинете. Под голову ему подсунули три подушки, отчего он неудобно скрючился, под затылком все была фуражка, а у слегка раздвинутых и как бы помертвевших ног – портфель. Он так и был в пальто.

Мать вернулась с рынка, поставила у дверей на площадке рыночный мешок, который Алена называла кошевкой. Кошевка была набита обычной снедью к обеду. Там были яблоки, свежо и кисловато пахнущая ранняя антоновка, кочаны капусты, красная морковь, ярая говядина, полтора фунта с голой белой костью. Говядина была обернута желтой грубой бумагой, просочившейся темной кровью.

Мать порылась в потертом черном кошелечке, уже не слыша, что ей говорит Аглая, дала гривенник дворнику и двугривенный городовому, который только что напился на кухне воды из-под крана и утирал русые усы ребром ладони.

Лицо матери стало необычайно тонким и замкнутым. Она была похожа на состарившую скромную прислугу.

Все, кто принес Петра Семеновича, начали выходить на лестницу, и тише всех, пошикивая на других, человек в котелке, привезший Маркушина. Позже бумажник Петра Семеновича с десятирублевкой так и не нашелся.

В кабинете мать убрала из-под головы отца лишние подушки, чиновничью фуражку. Она все делала быстро и бесшумно, точно уже давно была готова к тому, что отца привезут так, как онемевшего большого ребенка. Она легко стянула его мягкие сапоги с рыжеватыми голенищами. Она ни слова не говорила Аглае, только оглядывалась. Аглая понимала ее без слов, и легкие движения девушки были похожи на движения матери.

С усилием, от которого обе порозовели, они приподняли Петра Семеновича так, что можно было стащить с него пальто. Они опустили его боком, лицом к спинке дивана. Руки Петра Семеновича так же мелко дрожали, как на дворе, глаза теперь были закрыты. Темный сюртук сбился на его обширной спине и не слезал. Большими ножницами, какими когда-то кроила штанишки Пашке, мать очень быстро разрезала сюртук по спине вдоль и стала отстригать рукава неровными углами. Она вырывала из-под отца черные куски сукна. Аглая вынесла черную охапку, еще тепловатую от тела Петра Семеновича.

Отец лежал в белой рубахе, прикрытый до груди тонким шотландским пледом. Ворот рубахи на полной шее был откинут. Отец грузно высился на диване, и можно было видеть, какое у него белое тело, как могуча и красива его голова, остриженная коротко только позавчера, в субботу, когда он был в бане. Его руки перестали дрожать, он открыл глаза и узнал мать. Не шевеля губами, со страшным, вероятно, усилием, он покосил окаменевшим ртом, глухо простучал из его глубины неживой странный лай:

– Гау-габу-бау…

Отец смотрел на мать просиявшими глазами, он говорил, но мать слышала только из его глубины темный звук чужого существа, а отец говорил ей все, что не успел сказать раньше, или не подумал сказать, или забыл, и все, что он говорил, была одна жалобная просьба простить его.

Он просил простить его, и мать, едва касаясь губами его уха, заросшего седым пухом, отвечала быстро и ясно:

– Понимаю, понимаю.

Она не понимала вовсе, но она знала, что он говорит ей самое прекрасное, самое значительное, какое только может быть на свете. Она понимала, что он умирает, что раньше они жили не так, как надо было жить, что они жили равнодушно, как все, и не замечали чего-то самого главного друг в друге, в детях, кругом себя, но теперь, когда он только лает глухо и мелко дрожат его руки, она поняла, что они друг другу самые дорогие существа на свете и когда он умрет, весь свет станет для нее пустым и померкнет.

– Понимаю, – повторяла она на ухо, а по ее запавшим щекам бежали горячие слезы, прозрачные, она их не замечала.

Отец рассказывал ей, что хотел рассказать не раз, но как-то забывал, о своей матери, как он был совсем маленьким и еще был жив его старший брат, как его мать носила белый платочек, который повязывала по-простому, как отец стал за что-то топать на мать ногами, страшно кричать, а мать собрала узелок, тоже белый, и ушла из дома. Мать так больше и не вернулась, и все это казалось прежде невероятным, точно повиделось, чтобы мать ушла с узелком и не вернулась, но именно так все и было, и это было самым главным, что ему надо сказать.

Он затих. Они смотрели друг на друга, и то, что они понимали, было значительнее всего, что думала мать, и всего, что желал сказать отец.

Потом Алена, сипло дыша, бледная и бесшумная в своих катанках, привела доктора в черном сюртуке, с острой черной бородкой. Кажется, и перчатки были у доктора черные, только манишка и остренькое лицо белые.

К четырем часам, к чаю, вернулись Николай и Ольга. Ольга сразу зарыдала так громко, точно нарочно. Аглая поила ее водой из стакана.

Доктор уже ушел, в кабинете Петра Семеновича, за ширмой, невысокий скромный священник снимал через голову епитрахиль, едва шурша ею. В кабинете пахло ладаном и малиновым вареньем, которым Алена почему-то

угощала с блюдца священника. Петр Семенович лежал тихо.

К самой темноте вернулся домой Пашка. В тот день он долго бродил по баркам на Неве, переходя с доски на доску, по сходням, покуда не дошел до середины реки, где просторно, свежо, а вода синяя и бездонная. На барке изморщенный старик-сторож в кумачовой рубахе и просторных портках подсел к нему и, свертывая непослушными пальцами газетный листок с махоркой, стал любопытствовать, на кого баринок учится. Пашка не знал, на кого он учится, и сказал наугад, что на доктора. Старый мужик отсоветовал учиться на доктора, потому что «в докторах проку мало».

После прогулки по баркам на набережной он решил для спора с самим собой пробежать без остановки по Среднему проспекту до угла, где булочная Филиппова. Пари с самим собою он выиграл и вернулся домой запыхавшийся и голодный.

Он сразу потерялся, точно обомлел от звонких рыданий Ольги, от чужих людей с вытянутыми лицами, бросил гимназическую фуражку и ранец посреди кухни, вошел в столовую.

Брат Николай, бледный и грустный, сказал вполголоса:

– Где ты пропадал? Отец умирает.

Пашка не понял, не поверил, что отец умирает, но стало вдруг холодно, точно он сразу озяб.

– Пойди же, умойся, – добавил Николай. Но Пашка по коридору очень тихо прошел в отцовский кабинет.

Он увидел голову отца на белой подушке. Это была удивительно красивая, сильная голова, с орлиным носом, слегка темным у ноздрей, с запавшими, строго закрытыми глазами. Никогда отец не был таким красивым. Он дышал ровно и спокойно. В кабинете был сумрак, но отцовское лицо светилось на подушке, вероятно, потому, что на стуле, у дивана, горела свеча. В воздухе было разлито благоухание малины.

Пашка точно впервые услышал (да он никогда и не слышал так отчетливо) звучный ход часов у отца на столе. Он подумал, что батя заснул, что все это не так страшно, что батя, без сомнения, поправится, и уже хотел уйти, но удивительно белой, незнакомой и непонятной показалась ему рука отца, замершая на пледе. Именно эта сухая, точно выточенная из кости рука, привлекла его к дивану.

Со страхом и ожиданием стал он вглядываться в лицо отца, покоящееся перед ним. Сначала лицо показалось ему незнакомым, потом и поджатая нижняя губа, скосившаяся вбок, щетинистый подбородок и продольная морщина на лбу, и брови с тремя седыми жесткими волосками – все показалось необыкновенно знакомым и огромным, невозвратимым, вечным.

Мать в черной шали подошла тихо. Пашка не ждал, дрогнул. Мать тронула его за руку горячей рукой, прошептала:

– Пашуня, батя-то наш…

Тогда он стал на колени у дивана и поцеловал непонятную руку отца. Она была едва тепловатая, и оттого, что она была такой непонятной, у него мелькнуло страшно, как в детстве: «Баба-Яга, Костяная Нога», и он затрясся и беззвучно заплакал.

На другое утро на площадке лестницы, в том углу, где мать оставила накануне кошевку, прислонили к стене желтую, глазетовую крышку недорогого гроба с парчовым крестом.

Через три дня у Маркушиных шла последняя панихида.

Стояли со свечами. От воскового огня и дыхания в столовой была нестерпимая духота, все чувствовали в духоте горький привкус тления. Ольга рыдала громко и падала на руки подруг. У окна бледно и нежно светилось лицо Николая. Заплаканная Аглая тихо оправляла ему свечу.

Смерть отца была первой смертью, какую видел Пашка. Отец как будто вышел в другую комнату и закрыл за собою дверь. Пашка ничего не понимал, что такое случилось, ему казалось, что все еще может перемениться, что батя не умер. Ему казалось, что батя притворился, нарочно лег в гроб в своем обширном

черном сюртуке и старомодной праздничной манишке с черным галстуком. Под кисеей отблескивал лысый лоб, покрытый венчиком. Непонятные руки были сложены на груди, под кисеей, крест-накрест.

Когда запели «Надгробное рыдание», кто-то вскрикнул невнятно. Пашка, который все слышал и видел, хотя и заливался горячими слезами, подумал, что это нянька Алена.

Но закричала мать. Мать стояла худенькая, в черной шали, со свечой. У нее стали заметнее две широких седых пряди в черных волосах.

Она смолкла, и у нее не было больше ни слезинки на панихиде и на Смоленском кладбище, в шестом разряде, где в глинистую яму, полную мутной воды, опустили под глухую «Вечную память» Петра Семеновича, как опускали всех странных существ василеостровских и невасилеостровских обывателей, зачем-то обывающих землю.

Глава V

Отто Вегенер и Пашка Маркушин сидели на площадке лестницы, на подоконнике, и толковали о войне.

Отто Вегенер разросся, руки и ноги у него стали большие, он не знал, куда их девать. Шинель и казенные сапоги, впрочем, ладно были пригнаны на белобрысом долговязом юнкере.

Сначала Пашка, как и Вегенер, завел себе карту военных действий, расставлял флажки на булавках, потом надоело, булавки и флажки потерялись. Вегенер к тому же знал о войне все: куда пойдут, что возьмут, какая у кого артиллерия и вообще, что будет дальше. Пашка считал русских солдат лучше всех на свете, первыми героями. Вегенер соглашался, но добавлял, что немцы тоже хорошо дерутся. Это Пашку слегка обижало, и он думал о приятеле: «А все-таки немчура».

Лихорадка первых недель войны, когда Пашка бегал на вокзалы провожать уходящие эшелоны, орал до сипоты «ура» и покупал лубки про казака Крючкова, прошла.

В самом начале все весело торопилось, куда-то бежало, гремели военные оркестры, проносились со свистом красные вагоны с солдатами, что-то орущими, машущими руками, иногда с зелеными ветвями на шапках.

Так или почти так было и в Петербурге, и в Берлине, и в Париже. Всюду были уверены, что сильнее, славнее и лучше их солдат нет на свете, что победа несомненна, что все очень скоро кончится и конец будет какой-то особенно праздничным, с музыкой. В театрах и в ресторанах часто играли гимн. Всем нравилось подыматься с торжественным шумом.

Война уже вошла в медлительную жизнь людей, но о ней еще судили по старым журналам. Еще полуверилось, что война может быть теперь, в наше время. Где-нибудь на востоке, на случай усмирения в Китае, держали солдат в барашковых шапках для охраны границ, но никакой настоящей войны с Россией ни у кого не может быть. Россия больше и сильнее всех на свете, что из того, что потерпела поражение от японцев, и если кто ее тронет, она вся подымется, все миллионы ее православных серых героев. Никто не сомневался, что Россия победит, и больше было любопытства, чем тревоги, что же такое получится, если война уже началась. С войной все почувствовали в себе что-то героическое и рассуждали все, как заправские стратеги.

У Пашки, едва ли года два назад бросившего играть в оловянные солдатики, еще сохранились бумажные солдаты на глянцевых листах, длинные ряды французов в красных штанах, альпийские стрелки в зеленом, барсельеры в оперенных шляпах набекрень. Пашка так и думал, что солдаты в чужих армиях вроде его бумажных красавцев. Война для него, и для всех, была еще где-то далеко, сбоку, как-то около жизни, любопытная и смутно красивая, чем-то похожая на парад на Марсовом поле.

Маркушины жили в том же доме на Малом проспекте. После смерти отца в его письменном столе нашли государственную ренту, обернутую в кусок потертой, криво разрезанной замши. Мать стала отпускать домашние обеды. От этого в старой квартире повеселело. Правда, теперь всюду пахло дешевым жареным маслом, борщом, картошкой на сале, в столовой долго сидели и курили незнакомые студенты, барышни, офицер с бледным, немного лошадиным лицом,

но кабинет отца и комната матери оставались нетронутыми.

Двери туда были закрыты, чтобы не доходил чад и табачный дым. В кабинете был тот же воздух, какой при отце, та же тишина, и часы звучно тикали на столе, точно отец ходил здесь в своих татарских мягких сапожках. На его столе Пашка готовил уроки, осторожно отодвигая тяжелую отцовскую пепельницу и медную чернильницу. Мать иногда приходила со счетом:

– Посчитай, Пашенька, сколько тут будет.

Он, хотя и сердился, что помешали, но считал.

После смерти отца мать как-то помолодела. Она стала седая и легкая. Весь день она была в хлопотах. Столовники, кухня, обеды, ссоры с зеленщиками и мясниками, Ольгины платья, сапоги, рубашки Николая и Паши, деньги, счета, разбирая которые надо было надевать очки и писать неверной рукой дрожащие длинные цифры, – от всего этого мать и помолодела. Она еще неутомимее вела лютый бой за домашних. Только покойника она звала не батей, как при жизни, а с уважением – Петром Семеновичем. Она еще говорила о нем няньке или чиновнику, у которого получала пенсию, или жильцам, кто поминал его, и плакала легонько. Такие короткие, мгновенные слезы стали для нее привычными, не печальными.

Николай был груб с ней. Мать принимала это с такой же кротостью, как от отца. Она не обижалась и на резкость Ольги. Мать понимала, что всех их: Николая, Ольгу, Пашуню – надо куда-то тащить, помогать им выходить в люди. Она думала, что все они образованные, учатся, Николай так много знает, просто ученый, и, конечно, им надо вовремя приготовить сапоги, заштопать носки или рубашку, подать обед.

Одного Пашку задевало, как Николай и Ольга небрежно говорят с матерью. Он понимал, что мать может каждый из них обидеть, а она не ответит.

Как-то за чаем, когда Николай что-то с равнодушной грубостью сказал ей, он бросил брату: «Какая свинья!» – и вышел из столовой.

Николай с едким презрением стал говорить матери:

– Это вы во всем виноваты…

Он называл мать на «вы»:

– Воспитали дрянь эдакую, психопата.

Мать смущенно обещала, что Пашка извинится.

– Очень мне нужны его извинения. Не подымайте, пожалуйста, историй…

С начала войны Николай уехал в Москву. Он получил службу в каком-то военном комитете по снабжению армии, ставил где-то походные бани, носил романовский полушубок с золотыми погонами и шашку через плечо.

Черноволосый бледный офицер, столовавшийся у Маркушиных, сделал Ольге предложение. В столовой все поздравляли мать и улыбались. Смысл слова «предложение» Пашка не совсем понял, и ему показалось в нем что-то неудобное.

На другое утро после предложения Ольга обиженно кричала на Алену, почему не выглажена серая в клеточку юбка. Белокурая, в не очень чистом голубом халатике, стройная, с голубыми глазами, светлыми от злости, в ночных туфельках, тоже голубых, с пушистым белым мехом, Ольга потрясала на кухне смятой юбкой. Вошла мать. Ольга накричала и на нее.

Пашка пил кофе в столовой. Ему стало подкатывать к горлу от стыда и обиды за мать: он не выносил повышенных голосов. Он толкнул стол, кофе расплескалось по скатерти коричневыми пятнами, побежал на кухню. Как отец, упрямо мотая головой, он затопал на сестру ногами:

– Не смей кричать, дура, не смей.

Это было так неожиданно и повелительно, что все женщины притихли, а Ольга удивленно, без всякой обиды, посмотрела на брата, повернулась красиво, обдавая всех теплым запахом постели, духов, и вышла из кухни.

Вскоре Пашка узнал, что у сестры будет свадьба, что она выходит замуж за черноволосого офицера. Ему стало неловко, что он обидел ее на кухне, он даже немного лебезил перед сестрой, думая, что та еще сердится. А Ольга все забыла в тот же день.

Пашка слегка заискивал и перед ее офицером. У того было вытянутое, бледное лицо, приятный смех, матовый с серебром, и глуховатый голос. Он был поручиком Новочеркасского пехотного полка. Его звали Гогой.

Влюбленными глазами смотрел он на Ольгу. Он мог, кажется, смотреть так часами. Они вместе ездили в театры, чаще всего в оперетту, в Пассаж и по магазинам, покупали всякие пустяки, объедались шоколадом, пьяными вишнями. На извозчике, когда Ольга закрывалась муфтой, он целовал ее, прохладную и смеющуюся. Ольга таскала его по всем своим консерваторкам, и они много танцевали. Любовь Гоги была немудреная, простая, как у миллионов таких же существ, как он.

У Пашки к Гоге была неприязнь, почему он сидит в Петербурге, когда все офицеры должны быть на фронте.

– Почему вы здесь, разве ваш полк не на войне? – спросил он как-то.

– На войне. Я тоже скоро ухожу. С маршевой ротой…

И улыбнулся беспечно, следя за Ольгой влюбленными глазами.

Эта улыбка и взгляд, и особенно матовый смех с серебром начали нравиться Пашке. Ему нравился запах кожи от амуниции Гоги, как ладно он ходит, как ловко закуривает, и то, что не любит говорить о войне, о которой толкуют все, а о газетах отзывается, что они врут.

Скоро Гога начал нравиться ему даже больше Вегенера. Ольгин офицер стал для него самым ловким, смелым и умным человеком на свете. Пашка неприметно для себя подражал ему, как тот говорит, как садится. Перед зеркалом он пробовал причесывать волосы на прямой пробор, как у Гоги. Мокрая щетка была в большом ходу, даже кожа на голове заболела, но проклятые вихры так и торчали.

Ольгу к Гоге влекло что-то неясное, но знакомым барышням, когда те спрашивали шепотом, любит ли, Ольга отвечала искренно:

– Не знаю, но очень милый.

Со свадьбой торопили. Все заторопилось с этой войной. Накануне свадьбы Пашка запер дверь в отцовский кабинет и начал примерять перед зеркалом ремни, офицерскую фуражку Гоги и кожаные перчатки, которые были ему до смешного велики. Его немного удивило, что шашка была тупая, железная. Он решил уехать на фронт.

Эшелон Гоги ушел через два дня после свадьбы. На вокзале Гогу все время отзывали, Ольга никак не могла сказать что-то, что ей хотелось ему сказать. Гога уже прыгнул на площадку вагона: улыбка застыла на его бледном лице, и он не мог ее убрать. Поезд пошел быстрее, выдыхая пар, мутя фонари, и Ольга вдруг поняла, что от нее уходит-уходит что-то самое нежное, самое светлое, что есть на свете. «Но я его люблю», – вдруг подумала Ольга, почему-то оглянулась растерянно и заплакала так же, как мать, не стесняясь слез.

Мать, уже не видя Гоги, все махала платком этому чужому офицеру, сироте из Казани, ласковому и ловкому, кто стал таким родным, принес в дом что-то настоящее, сыновье. Ольга плакала некрасиво. В тумане кричали «ура». Из вагонов смутно и сипло кричали солдаты, поезд стучал, свистел.

Наутро, в туфлях на босу ногу и в голубом капоте, Ольга ходила по всем комнатам. Оттого, что Гоги больше не было, что теперь его могут там убить, она плакала откровенно и горячо.

Пашке было стыдно, что он ссорился с нею. Он присел к сестре на поручень кресла, сказал с нарочитой небрежностью:

– Брось ты, пожалуйста, реветь, не обязательно же всех убивают.

Ольга озлилась. Она даже обрадовалась своей злости, мгновенно перестала плакать, тщательно высморкалась:

– Реветь, – передразнила она. – Без тебя знаю, что делать.

Она гибко встала и ушла.

Перед гимназией, рано утром, Пашка любил вдвоем с матерью пить кофе. Он любил утреннюю тишину.

В это утро он отказался от второй чашки, почему-то начал внимательно рассматривать свои руки, потом собрал на клеенке крошки булки и сказал, стараясь говорить как можно обычнее:

– Да, между прочим, я хочу тебе сказать… – Он никогда не вставлял такого словечка «между прочим». – Я решил ехать на фронт.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/lukash_ivan/v-yuga

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить